

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ-КРИТИК КАК ИДЕЙНЫЙ НАСЛЕДНИК П. Я. ЧААДАЕВА

О. М. Кириллина

Российская государственная академия искусств

Поступила в редакцию 21 июня 2024 г.

Аннотация: в статье исследуются взгляды Мережковского на отечественную литературу. В статье особое внимание уделяется критическим работам, посвященным наследию А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого, так как Мережковский, доказывая, что развитие русской литературы можно представить как падение, как предательство заветов Пушкина, часто противопоставлял этих писателей. Изучение критического наследия Мережковского позволяет сделать вывод о том, что главным «грехом» русской литературы он считал проповедь жертвенности и сострадания.

Ключевые слова: западники, славянофилы, Л. Н. Толстой, А. С. Пушкин, «опрощение», женское начало, «Отец Сергий».

Abstract: the article examines Merezhkovsky's views on Russian literature. Special attention is paid to critical works devoted to the legacy of A. S. Pushkin and L. N. Tolstoy, because Merezhkovsky, proving that the development of Russian literature can be represented as a fall, as a betrayal of Pushkin's precepts, often contrasted these writers. The study of Merezhkovsky's critical legacy allows us to conclude that he considered the preaching of sacrifice and compassion to be the main «sin» of Russian literature.

Keywords: the Westerners, the Slavophiles, L. N. Tolstoy, A. S. Pushkin, «forgiveness», the feminine principle, «Father Sergius».

В произведениях Д. С. Мережковского многие деятели и творцы прошлого представляли пророками, которых не поняли современники, не оценили потомки. Свою миссию он видел в воскрешении и развитии их идей. П. Я. Чаадаев он воспринимал как одну из ключевых и недооцененных фигур в духовной жизни России. К списку критикуемых Чаадаевым явлений русской жизни Мережковский добавил русскую литературу.

После публикации «Философического письма» (1836) Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим [1]. Однако в обществе скептическое отношение сформировалось, скорее, к его оппонентам славянофилам. Их образ жизни и их идеи многими воспринимались как блажь, как барская забава: «Вне литературного круга на них смотрели как на чудачков, которые хотят играть маленькую роль и отличаться от других оригинальными костюмами» [2, 240]. Но были у славянофилов и противники, которые видели в их деятельности серьезную угрозу. Николай I и многие представители правительственных кругов воспринимали критику современности со стороны славянофилов с не меньшим раздражением, чем мнения западников [3]. С точки зрения революционно настроенной интеллигенции, идеи славянофилов были примером вполне обаятельного, а потому особенно опасного консерватизма. Так,

В. Г. Белинский утверждал, что их взгляд на народ слишком поверхностный, что их любовь к России незрела, а потому некритична. Например, в статье «Русская литература в 1844 году» он подверг суровой критике стихотворения Н. Языкова, в которых тот пытался передать народный дух через мотив бесшабашного удалства и экспериментировал с просторечной, грубоватой лексикой. Белинский считал, что долг поэта обличать в народе все, что отдаляет его от благородного образа жизни и мыслей на европейский лад. А в полемике с Гоголем по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) «неистовый Виссарион» продемонстрировал, какого жесткого отпора заслуживают реакционные проповеди. На рубеже XIX–XX вв. Д. С. Мережковский, не разделявший антирелигиозный пафос революционных демократов, соглашался с ними в оценке отношения Гоголя к православной церкви. В статье «Революция и религия» он был не менее резок, чем Белинский в письме к Гоголю: «Самодержавие погубило в Чаадаеве великого русского мыслителя; православие в Гоголе — великого русского художника. Судьба Гоголя — доказательство от противного, что в России новая религиозная стихия, не соединенная со стихией революционной, неизбежно приводит к старой церкви, которая не только мертвеет сама, но и все живое умерщвляет» [4, 152].

Серьезным аргументом в пользу идеи особого пути России без опоры на западные ценности ста-

ла русская литература. А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский сходились на том, что потенциал России заключается в особом строе души ее народа, на который, по большому счету, не повлияли западные идеи. На рубеже XIX–XX вв. молодые литераторы попытались, подобно Петру I, кардинально изменить курс развития русского искусства. Старшие символисты к западной культуре относились, пожалуй, с большим пиететом, чем их французские учителя, которые не просто констатировали кризис европейской цивилизации, но и в разной степени выражали желание ее конец приблизить. Недаром А. Рембо уехал в Эфиопию и жил в городе Харар, в котором первый европеец появился лишь за 25 лет до него.

Старшие символисты мечтали о новом Ренессансе, основой которого должно было стать возрождение на российской почве той западной культуры, которая не была еще заражена духом буржуазности и мещанско-ханжеского благочестия. В частности, Мережковский утверждал, что только в России возможно оживить дух старой Европы, о чем он писал П. П. Перцову [5, 132–159].

Одним из серьезных препятствий к этой культурной революции было влияние таких титанов, как Толстой и Достоевский. Молодые поэты противопоставили ясному, изысканно простому слову «отцов» свои смелые идеи и творческие эксперименты. Символисты верили, именно их новое слово, проникая почти как мистическое заклинание внутрь человека, способно существенно изменить его мировоззрение. К. Бальмонт в программной статье «Элементарные слова о символической поэзии» (1900) выражал уверенность в том, что новому поколению открылись невиданные горизонты: «...каждый символист, хотя бы самый маленький, старше каждого реалиста, хотя бы самого большого. Один еще в рабстве у материи, другой ушел в сферу идеальности...» [6, 38]. Мережковский выражал готовность взять на себя роль пророка: «Ведь нам дано большее сознание, чем Л. Толстому и Достоевскому и Ницше. Мы уже видим то, что за ними, дальше них. И это неимоверно увеличивает нашу ответственность... Слишком многое от нас зависит, от наших слов и действий» [5, 147].

А. Белый писал о необыкновенном воздействии на читателя Мережковского-критика: его пророческий, уверенный тон, талант филолога, художественность, выражавшаяся в обилии эмоциональных образов (даже там, где читатель мог бы ожидать более обоснованных, рациональных аргументов) — все это завораживало людей творческих, утонченных. В. Розанов описывал, как сложно было сбросить с себя обаяние стиля Мережковского даже его оппонентам, когда, например, тот «пинал ногами, бил дубьем — безжалостно, горько, мучительно» [7, 3] веховцев, близких во многом славянофилам: ««Браво! Браво! Браво!» И я кричал «браво». Ну что же: талант обма-

нывает» [7, 3].

Взгляды Мережковского были не менее радикальны, чем у Чаадаева. Тот отказал русским в принадлежности к цивилизации, к культуре: «...мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий... Лучшие идеи, лишённые связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу... Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социального лестницы» [8, 326–327]. В романе Мережковского «14 декабря» (1918) С. И. Муравьев-Апостол, герой, близкий по взглядам автору (его «Православный Катехизис» Мережковский охарактеризовал с явной симпатией как «пророческий лепет русской религиозной революции» [4, 143]) спорил с Чаадаевым: «Нет, Чаадаев не прав: Россия не белый лист бумаги, — на ней уже написано: Царство Зверя. Страшен царь Зверь; но, может быть, еще страшнее Зверь-народ» [9, 249].

Мережковский в программной статье «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) отказал отечественной литературе и, в частности, Толстому в принадлежности к мировой культуре: «Нет, Гёте не презирал того, что создал. Такое отношение, как у Толстого, к собственным творениям показалось бы ему святотатством. Вот бездна, отделяющая поэзию от литературы. В сущности это та же самая бездна, которая отделяет стихийное от человеческого» [10, 436]. Мережковский уверял, что нет ничего губительнее для писателя в России, чем любовь к Родине: «Изнуряющее, губительное чувство *напрасной любви* к родине было у Гоголя еще сильнее, чем у Пушкина. Оно нарушило навеки его внутреннее равновесие, довело до безумия. Лермонтов... стыдился названия русского литератора как чего-то унижительного и карикатурного» [10, 432]. После революции Мережковский цитировал Чаадаева с особым пафосом, призывая большевистскую Россию покаяться: ««Мы не спасемся, пока не вырвется из наших сердец крик боли и раскаяния, отзвук которого наполнит весь мир» (Чаадаев)... Мы захотели быть выше и оказались вне человечества» [11, 552].

Тем не менее Мережковский по-своему верил и в Россию, и в народ. Он приписывал подобные убеждения Чаадаеву: «Он верит в особое, отличное от Европы и Византии всемирное предназначение России... Он почти сознает, что Россия должна не бежать от Европы и не подражать Европе, а принять ее в себя и преодолеть до конца. В этом смысле Чаадаев... будучи крайним западником, в то же время крайний и обратный — революционный славянофил» [4, 148].

Мережковский видел огромный потенциал в русском народе, в его стихийной религиозности. Он со-

глашался с Чаадаевым, что Россия — страна варварская, но отмечал особую чувствительность дикарей к красоте, их открытость страстной религиозной проповеди. Как и Чаадаев, он считал, что эта новая проповедь должна быть направлена против основ православия. Чаадаев видел опасность христианства византийского толка в том, что оно воспитывает раболепство, безвольность, а Мережковский добавлял, что не меньшую опасность представляет православная проповедь жалости и аскетизма. Он считал, что задача русского писателя заключается в том, чтобы перебороть эти «заблуждения» восточной формы христианства и адаптировать для народа католические ценности, выражавшиеся, по его мнению, наиболее ярко в рыцарстве, в мужественном служении Богу с мечом в руке.

Для Мережковского Пушкин — единственный носитель истинной мужественности в русской литературе: «Воля к мере — победа над безмерным, дионисовским, женственным — есть высшая воля к мужеству. Может быть, с эллинской древности не было такого совершенного гения мужества, гения меры, как Пушкин. Стоит вспомнить о нем, чтобы поверить: русский народ способен к мужеству» [11, 552]. Мережковский считал, что история русской литературы была изменой заветам Пушкина, так гениально освоившего лучшие достижения европейской культуры. В статье «Пушкин» (1897) он утверждал: «...в презрении к науке у Льва Толстого, в презрении к «гнилому Западу» у Достоевского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому началу мировой культуры, которое было завещано России двумя одинокими и непонятыми русскими героями — Петром и Пушкиным» [10, 277].

Символисты увидели в простоте пушкинского стиля проявление целостности его взгляда на мир. Мережковский утверждал: «...все по сравнению с Пушкиным — неудачники. Он один — круг; все остальные — части круга, незаконченные сегменты или бесконечные параболы» [12, 431]. Мережковский считал, что Толстой, к примеру, во многом эпигон Пушкина, но не столь гениальный: «Вся проповедь Льва Толстого против городской жизни, внешней власти, денег, есть только развитие, повторение того, чему Пушкин в... немногих словах дал неистребимую форму совершенства» [10, 250]. По мнению Мережковского, в Толстом в крайних формах и односторонне проявился лишь русский вектор, заданный в творчестве Пушкина. Мережковский восхищался пушкинской аристократичной простотой, а «опрошение» Толстого воспринимал как отпадение от культуры, самоотрицание, варварство, как «...ответ русской демократии на вызов Пушкина» [10, 265]: «Когда великий художник, во имя какой бы то ни было цели — корысти, пользы, блага земного или небесного, во имя каких бы то ни было идеалов, чуждых искусству, — философ-

ских, нравственных или религиозных, отрекается от бескорыстного и свободного созерцания, то тем самым он творит мерзость в святом месте, приобщается духу черни» [10, 265].

Историю русской литературы после Пушкина Мережковский воспринимал как падение, которое ярче всего выражалось в проповеди жертвенности. При этом он считал, что такая траектория наметилась уже в творчестве Пушкина. Так, финал «Евгения Онегина», по его мнению, отражает ложный выбор России: «Пред лицом старого порядка, «старого хрыча», которому на съедение отдана, как Татьяна, вся Россия, — «смирись, гордый человек!» — есть проповедь полнейшего мертвения, тупого, подневольного, грубого жертвоприношения» [14, 240].

В героях Толстого Мережковский отмечает ту же неспособность воспарить. Он пронизательно указывает, что духовное возрождение у героев Толстого связано с мотивом размягчения, слабости тела: «В этой-то телесной, чувственно-сладостной слабости, как в самой первой семенной ячейке, начинается все толстовское «христианство». Телом «настрадался», телом «ослаб вовсе», почувствовал тело свое «бессильным, бескостным, жидким» — и заплакал, умилился, полюбил и духом «воскрес»... И здесь, как везде, как всегда у Л. Толстого, не тело следует за душою, а, наоборот, душа за телом» [13, 301]. Мережковский в своих произведениях развивает идею синтеза вечного и тленного, когда в красоте тела видится сила Творца, а душа проявляет себя через конкретное, мощное действие, через борьбу и бунт, и чем крепче одно, тем сильнее другое. Не жалеть человека, а видеть в нем потенциал Богочеловека призывал Мережковский. Так в романе «Петр и Алексей» царевич выдерживает самые жестокие пытки и как будто крепчает духом, но хитрый царедворец, предок Льва Толстого, добивается от Алексея признаний, проявив жалость к нему: «Подписав, он вдруг опомнился, как будто очнулся от бреда... Хотел закричать, что все это ложь, схватить и разорвать бумагу. Но язык и все члены отнялись, как у погребаемых заживо... Без движения, без голоса, смотрел он, как Толстой складывал и прятал бумагу в карман» [15, 711].

Мережковский считал, что Иисус проповедовал любовь-ненависть к ближнему во имя любви к далекому, презрение к человеку во имя Богочеловека: «Трудно человеку понять, что Бог иногда требует от него любви, как будто ненавидящей, безжалостной к людям... Может быть, главная мука Его — уже начало Креста — вовсе не то, что люди мучают Его, а то, что Он их мучает, любя; губит, чтобы спасти: «кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее»» [16, 123]. Крестовые походы Мережковский считал высшим проявлением служения Господу: «Завтра, может быть, святые падут от меча, но сегодня праведно и свято обнажат они меч на овладевших миром не-людей. Сущих против не-сущих крестовый

поход — тоже понятное всем людям начало царства Божия» [16, 296].

Для героев Толстого путь к Богу происходит через отказ от мужских черт характера, от тщеславия, от агрессивного, рассудочного начала, через «размягчение». Мережковский воспринимает подчинение мужчин своим женам в «Войне и мире» как торжество самки, как символ победы тела над духом. Но в повести Толстого «Отец Сергей» благодаря женщинам герой находит истинный путь к Богу. Сначала герой закаляет свой дух, когда борется с женщинами-искусительницами, однако затем он склоняется перед силой женщин-«дурочек». Тактика утонченной соблазнительницы оказалась куда менее действенной, чем наивная прямолинейность слабоумной дочери купца. Даже отказавшись от выгодного брака с аристократкой, он не избавился от тщеславия, а глупая Пашенька вдохновила его на подвиг истинного смирения. Пашеньку отец Сергей знал с детства и, как другие дети, считал ее дурочкой. Жизнь ее не сложилась, но Пашенька не озлобилась. Она пыталась помогать близким, «смягчать» их: «Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми» [17, 377]. Ее жизнь (непротивление и искреннее служение людям) для отца Сергея становится образцом. Отец Сергей и Пашенька совершают тихий духовный подвиг. Идею личного спасения Мережковский считал тупиковой, поэтому даже почвенник Достоевский, мечтавший о теократии, был ему ближе, чем Толстой.

Признавая силу Толстого, Мережковский убеждал, что тот растратил ее зря, что «непротивление» и «опрощение» — приукрашенное варварство, падение: «Предел восхождения, освобождения — полет. Западная культура только потому и могла достигнуть этого предела, что Господь явился ей... как Освободитель народов... Вот что для нас, русских, невообразимо... Европейский путешественник XVII века рассказывает о русском пьянице, который пропил... кафтан... порты и, выйдя, голый, из кабака, сорвал горсть одуванчиков и «прикрыл ими свое срамное тело». Толстовское опрощение, писаревский нигилизм, бакунинский анархизм... не напоминают ли эту горсть одуванчиков?» [18, 13].

Глубину «падения» Толстого Мережковский измерял его отношением к Наполеону. Об образе французского императора в «Войне и мире» Мережковский в книге «Л. Толстой и Достоевский» [13] писал с негодованием и утверждал, что только чернь может опуститься до карикатуры на гениев. В разные годы Мережковский пытался стать наставником потенциальных, как ему казалось, Наполеонов. В начале века для него это был Б. В. Савинков, известный террорист из Боевой организации эсеров. Разговоры с ним, несмотря на то что Мережковский знал о душевных терзаниях убийцы, помогли писателю в спорах о приемлемости насилия в революционной

борьбе сделать однозначный выбор в пользу террора. В статье «Бес или Бог» (1908) Мережковский представил жизнь казненных террористов как духовных подвиг: «...эти атеисты воистину святые. Со времен первых христианских мучеников не было людей, так погибавших...» [4, 60]. Впоследствии Савинков его разочаровал, потому что во время Гражданской войны пытался убедить Мережковского в необоснованности его представлений о президенте Польши как об избраннике Божьем, призванном спасти Россию от большевиков [19, 301–302].

В эмиграции Мережковский надежды на победу над большевизмом связывал с набирающими силу фашистскими режимами: он мечтал о новом крестовом походе против революционной России. Он с благодарностью принял покровительство Б. Муссолини, но, поняв, что тот не разделяет его религиозный пыл, Мережковский попытался найти понимание у другого диктатора, генерала Франко. Тот даже не ответил на письмо Мережковского. До и после вторжения Гитлера в СССР Мережковский принимал помощь немецких военных [19, 304]. Такое развитие его общественной деятельности представляется вполне закономерным. Фундаментом духовного союза Европы и России, по мнению Мережковского, должен был стать отказ от главного «греха» русской культуры — культа жертвенности и сострадания. Но без этой составляющей нашей культуры его гимны народу оказались созвучными идеям фашистских лидеров. Таким образом, не в дискуссиях, как в случае с письмом Чаадаева, а в коллизиях истории был сформирован ответ на идеи Мережковского. Не получив серьезного отпора ни со стороны властей, ни со стороны интеллигенции, Мережковский имел возможность проповедовать свои идеи и довести их до того предела, когда даже сочувствующие отвернулись от него.

ЛИТЕРАТУРА

1. Велижев М. Б. Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России / М. Б. Велижев. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 392 с.
2. Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов / М. Ф. Антонов. — М.: Ин-т русской цивилизации, 2008. — 416 с.
3. Чичерин Б. Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина: Москва сороковых годов / Б. Н. Чичерин. — М., 1929.
4. Мережковский Д. С. Царь и революция / Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Filosoф. — М., 1999.
5. Письма Д. С. Мережковского к П. П. Перцову (публикация и примечания М. Ю. Кореновой) // Русская литература. — 1991. — № 3. — С. 132–159.
6. Бальмонт К. Б. Элементарные слова о символической поэзии / К. Б. Бальмонт // От символизма до «Октября». — М., 1924. — С. 37–44.

7. Розанов В. В. Мережковский против «Вех» / В. В. Розанов // Новое время. — 1909. — № 11897 (27 апр. (10 мая)). — С. 3.
8. Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо первое / П. Я. Чаадаев // Полн. собр. соч. в 2 тт. — М., 1991. — Т. 1.
9. Мережковский Д. С. 14 декабря (Николай Первый) / Д. С. Мережковский. — М., 1994.
10. Мережковский Д. С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы / Д. С. Мережковский. — СПб., 2007. — С. 428–503.
11. Мережковский Д. С. Россия будет (Интеллигенция и народ) / Д. С. Мережковский // Д. С. Мережковский: писатель — критик — мыслитель. Сб. статей. — М., 2018.
12. Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев / Д. С. Мережковский // В тихом омуте: статьи и исследования разных лет. — М., 1991. — С. 416–483.
13. Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Д. С. Мережковский. — М., 2000.
14. Мережковский Д. С. Иваныч и Глеб / Д. С. Мережковский // Акрополь: Избранные лит.-критич. статьи. — М., 1991. — С. 227–247.
15. Мережковский Д. С. Антихрист (Петр и Алексей) / Д. С. Мережковский // Собр. соч. в 4 тт. — М., 1990. — Т. 2.
16. Мережковский Д. С. Иисус неизвестный / Д. С. Мережковский. — М.: Республика, 1996. — 683 с.
17. Толстой Л. Н. Отец Сергей / Л. Н. Толстой // Собр. соч. в 22 тт. — М., 1982. — Т. 12.
18. Мережковский Д. С. Земля во рту / Д. С. Мережковский // Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде): История в материалах и документах: 1907–1917: в 3 т. — М., 2009. — Т. 2.
19. Зобнин Ю. В. Дмитрий Мережковский: Жизнь и деяния / Ю. В. Зобнин. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 435 с.

*Российская государственная академия искусств
Кириллина О. М., кандидат филологических наук, профессор
межфакультетской кафедры гуманитарных дисциплин
E-mail: kirillinao@mail.ru*

*Russian State Specialized Academy of Arts
Kirillina O. M., Candidate of Philology, Professor of the
Interfaculty Department of Humanitarian Disciplines
E-mail: kirillinao@mail.ru*